

День Пушкина

ПРИЗНАЮСЬ, одно время я сильно колебался во мнении: надо или не надо каждый год проводить Пушкинский праздник в Михайловском? Больше даже склонялся к тому, что не надо. Считал, что туда — в Михайловское, туда — в Тригорское и Петровское, туда — в Святогорский монастырь надо приезжать в одиночестве. То есть, думал я тогда, быть под небом Пушкина, ходить по земле, что помнит его легкий, порывистый шаг, можно только в исключительно спокойном, укромном уединении. Только такое, глубоко личное, неспешное восприятие всего того, что при жизни окружало поэта, поможет, как мне казалось, преодолеть преграду, отделяющую нас чуть ли не на два столетия от нашего живого Пушкина.

Только сосредоточенность души, отмечал я про себя, даст нам счастливую возможность разорвать пространство и время и прикоснуться сердцем к дорогим пушкинским святыням. Ведь это не просто — холмы и рощи, косогоры, дуга и лужайки... Не просто псковская сельщина, не просто тихая речушка, как на Руси великое множество. Берег Сороти, старый усадебный парк, да и все видимые и невидимые с тамошних холмов окрестности — все они поднимали, растили для нас Пушкина. Эти поля и овраги, эти леса и поемные дали лугов видели его мечтающим и страдающим, погруженным в глубокое раздумье и стремглав несущимся на скакуне. Эти поля и леса в печальном холоде зимы бежали за его гробом вплоть до его могилы на этих горах. Здесь они остановились и замерли в раздолье и высоте, являя собой непостижимое до конца лицо вечности. В этой природе он жил и творил. В этой листве, в этих метелках трав, в этих колосьях и цветах шумят и будут вечно шуметь его великие глаголы.

Вот почему я считал и продолжаю считать, что в природный мавзолей Пушкина, под его небо, в залы его лесов и полей надо входить как можно тише, приподнявшись душой, дабы ненароком не задеть, не потревожить неспешный ход его высоких дум. Только так, а не иначе, казалось мне, надо встречаться с Пушкиным в его родительских местах.

Но, побывав однажды в Пушкинском на Всесоюзном поэтическом празднике, я, к радости своей, в равной мере утвердился и в том, и в другом. Там я особенно отчетливо осознал то, что Пушкин нужен не только каждому из нас в отдельности — ему, тебе, мне, — но и всем нам вместе, нужен всему народу в целом. И не только повседневно, в будничное время, но и празднично, в исключительно редком ряду особо избранных дней.

Как известно, у каждого имени есть свои праздники, мы их называем именинами. А почему бы, спрашивается, параллельно с религиозным календарем такого рода или даже вопреки ему не ввести в обиход и нам свой календарь памяти? Ведь праздник пушкинской музы — это, я уверен, праздник сердца каждого из нас и всех нас вместе. Так я это теперь понимаю. А — праздник — это тоже работа, работа души в радости общения, работа по поддержанию огня памяти на миру, форма открытой благодарности друг другу. Взаимная отзывчивость в заздравном слове, в застойной песне, в кругу пляски. Не о такой ли отзывчивости в минуты грусти мечтал и сам Пушкин? Помните его «Эхо»? Он сам ждал отклика. И хотя не всегда верил, что дождется, отзыв все-таки был. Был при жизни поэта и после его смерти. Был и в девятнадцатом, и двадцатом ве-

Егор ИСАЕВ, лауреат Ленинской премии

ке. Особенно в двадцатом, после революции. И какой отзыв! Тут я с полным основанием могу сказать, что в этом смысле равных Пушкину в мире нет. Отзывчивость на все, что написал Пушкин, у нас воистину всенародная. На всю грамоту, можно сказать, отзывчивость — от букваря до энциклопедии, от первокурсника до академика... Отзывчивость на всех языках Союза. А такое насильственно пробудить нельзя, как нельзя, скажем, заставить любить. Этому чувству даже в университетах научить невозможно. Любовь сама волк любит.

Мы любим Пушкина и повсеместно празднуем его. Особенно в его Болдине, особенно в его Михайловском. И празднуем не просто в день его рождения, а в день его бессмертия, празднуем не только на 37 физически прожитых им лет, а на всю даль веков, которая есть и которая еще грядет.

В этом смысле у Пушкина дня смерти нет. Есть только день рождения — 6 июня. Скажу больше: этот день, день 6 июня, по праву можно считать и днем вступления во все свои жанровые и видовые владения в литературе нашего живого разговорного русского языка — первооткрывателя и первохудожника нашего.

Приближались к живому языку и Ломоносов, и Державин, и Жуковский, и Батюшков... Но в том-то все и дело, что приближались.

Один только Пушкин сделал резкий шаг вперед — навстречу разговорному русскому языку-океану, навстречу его великому, повседневному волнению. И входя в этот океан, он тем самым давал возможность и ему, языку-океану, беспредельно войти в себя, в свое творчество, в нерв своего слога и слова. Войти и старинно — всей рукописной и печатной культурой тех времен, и изустно — сказкой, быливой, притчей, пословицей и поговоркой, войти и дать новую жизнь новому литературному языку, новой литературе, новой книге. И это отнюдь никакое не преувеличение с моей стороны.

Доказательство? Пожалуй-ста. Пушкин — единственный в мире великий поэт, в начале творчества которого лежит сказка. «Руслан и Людмила» разве не свидетельствует прямо об этом? А вот что по этому поводу в письме к брату писал сам Пушкин: «...вечером слушаю сказки — и вознаграждаю тем недостатки проклятого своего воспитания. Что за прелесть эти сказки! Каждая есть поэма!». И это, заметьте, пишет один из самых образованнейших людей России, еще в детстве прозванный своими друзьями-лицеистами «французом» за великолепное знание французского языка и литературы. Каждая сказка есть поэма! Пушкин этим самым как бы устанавливает равноправие жанров — сказки и поэмы. И не только устанавливает, но и считает возможным переток между ними. Сказки — в поэму, поэмы — в сказку. Церковнославянские отходят в сторону — в музей, в архив. Таким образом, Пушкин, можно сказать, впервые возвел в законное право соавторства в литературе наш великий разговорный русский язык.

Остается неясным, за что Пушкин корит свое воспитание. Причем не плохое воспитание, а «проклятое». Смысловое ударение падает именно на это слово, ни на какое другое. В чем тут дело? А дело тут, как мне кажется, в том, что Пушкину всегда претило то высокомерно-чванливое отношение к народу, которое всячески насаждалось в детях дворян. Вот почему, думаю, Пушкин и назвал это воспитание проклятым. Ген протона-

родья, смею утверждать, в Пушкине был куда выше и сильнее унаследованного им знака дворянина. Отсюда — и его гениальность. Он гениален прежде всего народом, чувством его истории, культуры и языка. А чернь — это не народ, это примерно то же самое, что теперь — обыватель. Чернь по Пушкину — это, скорее, титулованное невежество, чванство в роскоши и безделье, светское ряженье на балах, нежели просто неграмотность. Уверен, что крестьянка Арина Родионовна была для него куда более образованным человеком, чем, скажем, тот же самодур Троекуров. Образованность идет от слова образ. Образ мысли, образ поведения, образ лица, жеста, слова и, наконец, сам образ жизни — вот что больше всего интересовало в людях Пушкина. И тут Арина Родионовна — эталон всему. Все великое творчество Пушкина прошло, можно сказать, под знаком доброй души и мудрости этой простой крепостной крестьянки, нянюшки-подружки его, Арины Родионовны. Она учила его больше, чем грамоте, она учила его народу, его живому языку. И Пушкин как нельзя лучше усвоил этот урок. Народ для него — это носитель всего нравственного в крутых берегах истории и по ее стрелю.



Отсюда и «Пророк» у Пушкина. Нельзя стать пророком, любясь только собой и возносясь над народом. Только вхождение в жизнь, только хождение по жизни — по горным и дольным ее сферам, только встречное вхождение жизни в разъятое сердце поэта дают ему относительное право в какой-то мере считать себя пророком. Не вознесение в слове, а осмысленное, как долг, служение, страдание словом — вот что составляет цель и смысл истинного дарования. Ни блистательный эпитет, признак предмета, ни имя его, ни даже суть имени этого предмета, а сам глагол, сама энергия мысли, жгущая и врачующая одновременно, — вот что такое работа талантом. Пророчество по Пушкину, повторяю, отнюдь не самовознесение в дежурной позе мудреца, а каждодневное служение добру, истине.

Скажут: а тогда как понимать «Памятник»? Разве там не идет речь о самовознесении? Да и сам факт написания такого рода стихотворения разве не говорит про то же самое? Говорит, но совсем в других целях и тонах. Во-первых, это дань традиции, идущей еще из глубин античной поэзии. А во-вторых, слово в таких монументальных стихах обычно подражало мрамору и бронзе, подчеркивая тем самым особую торжественность, незыблемость сказанного.

Так было у греков и римлян.

Так было и у нашего Державина.

Совершенно другое у Пушкина.

Он воспользовался традицией скорее в границах формы, нежели смысла. Да и «строительный материал» у него несколько иной, чем у его давних и недавних предшественников. Слово его подражает не столько мрамору и бронзе, сколько живому дереву, духу человеческого.

Слух обо мне пройдет по всей Руси великой,
И назовет меня всяк сущий
в ней язык,
И гордый внук славян,
И финн, и ныне дикой
Тунгус, и друг степей
калмык.

Обратите внимание: пройдет не слава в торжественном шествии, а всего лишь слух. Слава, она выше и быстрее слуха. Но зато слух — глубже, основательнее, под стать той поговорке: «Слухом земля полнится». Слух — это теплее... И не воздаст, как следовало бы ожидать, не объявит громогласно, а всего-навсего «назовет» в тихой беседе всех сущих языков, как бы дружески собравшихся однажды у ночного костра. Это памятник — до памятника еще. Сначала в душе, а уж потом в камне и металле. Сначала в народе, от народа, а уж затем — перед народом.

И долго буду тем любезен я народу,
Что чувства добрые
я лирой пробуждал,
Что в мой жестокий век
восславил я свободу
и милость к падшим
призывал.

Видите, всего лишь «любезен», а не безоговорочно «любим». Всего лишь «пробуждал», а не будил, допустим, как набат. Все смягчено, даже, если хотите, благодарно снижено к великим стопам великого, нескончаемого в веках народа, чья тропа к подножию памятника своего поэта — заметьте, тропа, а не дорога — никогда не зарастет травой забвенья. Высоко возносится лишь одно слово — «восславил», причем рядом со словом «свобода» и причем так же гордо возносится, как и непокорная глава самого поэта над Александровским столпом. А смотрите, какой смысловый и эмоциональный каскад в трех чередующихся фразах: «чувства добрые», «жестокий век» и «милость к падшим». Такое доступно только гению.

Но Пушкин слишком хорошо знал, что он прежде всего человек, потому, собственно, и не любил ложнозначительных масок — ни маски поэта просто, ни тем более маски гения. Он был более, чем кто-либо другой, равным в душе и отзывчивым, равно как и мудрым. Будь он другим, он бы не пошел так решительно на Черную речку и не пожертвовал бы так искренне собой на той, так подло подстроенной дуэли. Нет, он слишком знал, что он — человек. И не отказывал себе в удовольствии быть таковым. Истинный гений, он всегда гораздо человечнее своей гениальности. Игра в гения лишь выдает отсутствие такового. И такая игра вредна не только для самих играющих. Пушкин — абсолютная противоположность такой позерствующей гениальности.

Пушкину больше свойственна шутка, нежели ирония. В иронии все-таки есть определенная доля высокомерия, а иногда даже и цинизма. Шутка лишена всего этого — она простодушней, добрей. Этой стороной она ближе всего к своим старшим сестрам — сказке и басне.

Но ирония — ладно. Больше всего Пушкин сторонился перекура в стихах. На что уж «Евгений Онегин» — великий роман, а как он легко, как бы шутя, открывается! Более того, если судить по предпосланному роману дружескому обращению Пушкина к Плетневу, можно даже ненароком подумать, что в дальнейшем речь вообще может пойти лишь о каком-то частном послании в стихах. Не больше.

Но так и быть — руной
пристрастной
Прими собранье пестрых
глав,
Полусмешных,
полупечальных,
Простонародных,
идеальных,
Небрежный плод моих
забав,
Бессонниц, легких
вдохновений,
Незрелых и увядших лет,
Ума холодных наблюдений
И сердца горестных замет.

Во всем здесь — движение света и тени, как в летний полдень у большой реки, во всем — жар и прохлада высокого дня... И шутка, и серьез — все вместе. Но — вот чудо! — ничто здесь специально не выделено, не подчеркнуто особо, разве что несколько тревожней и тяжелей даны, может быть, две последние строки. Они более эпичны, как из-под пера самого Пимена, и потому более холодны и вместе с тем интимно пронзительны, особенно в слове «горестных»... Но скакой, повторяю, кажущейся легкостью они подготовлены и даны на листе! Так подготовлен и дан весь роман, который назовут потом «энциклопедией русской жизни».

И главное тут опять же не столько в пророческом, сколько в человеческом.

Пушкин! Без него она просто непредставима, наша большая литература. Непредставима ни в прошлом, ни в настоящем, ни в будущем. Без любви к Пушкину даже само чувство любви, кажется мне, недостаточно полным. Я не знаю более живого человека в народе, чем Пушкин. «Наш Пушкин», — говорят пушкинаторы. И он действительно — их. Он живет среди них, ходит по этим тропинкам, аукается в лесах... И это не мистика какая-то. Это правда. Вот — его дом, вот его стол, вещи его. Такое впечатление: минуту не прошло, как он вышел из дому и с минуты на минуту вернется. А может, он гостит у своих друзей в Тригорском? А может, объезжает на коне свои великие владения — владения мысли и души. Скорее всего, так оно и есть. Здесь особая созвучность во времени. Здесь век и минута, как дед с внучкой: летописно и целомудренно тут. И уютно! Совсем почти по-домашнему, в чем-то родственно даже. Не это ли чувство есть чувство исторического родства? Тут даже воздух и тот какой-то по-особенному свой — не музейный, нет, а живой, как ветер за окном, за лесом, за рекой... Там, по ту сторону века, — живое лицо Пушкина, а по эту — наши лица, благодарно обращенные к нему отсюда, из наших дней. По календарю это очень далеко, а по чувству — близко.

Вот поляна Пушкина. Называется она Большой поляной. Но мне кажется, к ней подходит больше поле, а не поляна. Причем не просто большое поле, а великое, на прямую родственное нашим ратным полям — Ледово-Чудскому, Куликову, Бородинскому, Прохоровскому... Поле Пушкина — это поле наших великих глаголов. И как волно здесь — особенно в поэтические праздники — бессмертным словам:

Друзья мои, прекрасен наш союз!
Он, как душа, неразделим
и вечен.

Какая акустика памяти, какая дальность сердца! И это все от того, конечно, что он уже давно есть, такой союз. Союз не только людей, союз народов — есть! И призыв Пушкина: «Друзья, Отчизне посвятим души прекрасные порывы!» как нельзя лучше и верней отвечает нашим чувствам.

Горы Пушкина... Поле Пушкина!.. Здесь даже и в непогоду солнечно и тепло. Тепло от самого Пушкина и от степричества его земляков — псковичей, пушкинаторцев.

День Пушкина бесконечен в народе.